



Я существую

Я совсем маленькая. Сажу на подоконнике, вокруг разбросаны игрушки — опрокинутые башни из кубиков, куклы с вытаращенными глазами. В доме темно, воздух в комнатах медленно остывает, меркнет. Никого нет; все ушли, скрылись, вдали еще звучат голоса, шарканье, эхо шагов и приглушенный смех. За окном — пустой двор. Тьма мягко стекает с неба. Оседает повсюду черной росой.

Мучительнее всего неподвижность: густая, зримая — холодные сумерки и слабый свет натриевых ламп, что тонет во мраке уже в радиусе метра.

Ничего не происходит, надвигающаяся темнота замирает на пороге, предвечерний гомон стихает, застывает густой пенкой, словно на кипяченом молоке. Силуэты домов на фоне неба растягиваются до бесконечности, мало-помалу сглаживаются острые углы, края, изломы. Угасая, свет уносит с собой и воздух — становится душно. Теперь мрак просачивается сквозь кожу. Звуки свернулись клубочком, втянули внутрь улиточки глазки; распрощавшись, исчез в парке оркестр мира.

Этот вечер — кромка мира, я случайно, сама того не желая, нащупала ее во время игры. Обнаружила, ненадолго оставленная одна, без защиты. Я понимаю, что попала, ловушка захлопнулась. Совсем маленькая, я сажу на подоконнике, смотрю на остывший двор. Уже погас свет в школьной кухне, там никого нет. Бетонные пли-

Ольга Токарчук

ты двора напитались мраком и растаяли. Закрыты двери, опущены шторы, задернуты занавески. Хочется выйти из дому, но некуда. Только контуры моего присутствия становятся все более четкими, дрожат, колышутся, причиняя мне боль. В мгновение ока я осознаю: пути назад нет, я — существую.

Мир в голове

Первое путешествие я совершила по полям, пешком. Исчезновение мое обнаружили не сразу, так что я успела зайти довольно далеко. Прошла весь парк, а потом — проселочными дорогами, через кукурузу и влажные луга, усыпанные калужницей, нарезанные на квадраты мелиорационными канавами, — добралась до самой реки. Впрочем, река в этой низине повсюду напоминала о своем присутствии, просачивалась сквозь травяной покров, облизывала поля.

Взобравшись на дамбу, я увидела движущуюся ленту, дорогу, уходившую за пределы кадра, за пределы мира. Если повезет, можно было увидеть баржи, большие плоские суда, которые скользили по реке — одни туда, другие обратно, не замечая берегов, деревьев, стоящих на дамбе людей, которые, вероятно, казались им изменчивыми, недостойными внимания ориентирами, свидетелями их исполненного грации движения. Я мечтала, когда вырасту, работать на такой барже, а еще лучше — самой в нее превратиться.

Река была невелика, всего-навсего Одра; но ведь и я в то время была маленькой. В иерархии рек она занимала свое место (позже я проверила по картам) — далеко не главное, но достойное, этакая провинциальная виконтесса при дворе королевы Амазонки. Однако меня это устраивало, мне Одра казалась огромной. Она текла как хотела, уже давно никем не регулируемая, склонная

к разливам, непредсказуемая. Местами, на мелководье, цеплялась за какие-то подводные препятствия, образуя водовороты. Струилась, шествовала, устремленная к недоступной взору цели, где-то далеко на севере. На ней невозможно было остановить взгляд — река увлекала его за линию горизонта, вызывая головокружение.

Одра не обращала на меня внимания — занятая собой, изменчивая, кочевая вода, в которую, как я узнала впоследствии, нельзя войти дважды.

Каждый год она взимала обильную дань за то, что таскала на своем хребте баржи: каждый год кто-нибудь в ней тонул — то ребенок, купавшийся в жаркий летний день, то пьяный, загадочным образом потерявший равновесие и, несмотря на ограждение, упавший с моста в воду. Поиски утопленников всегда были долгими, шумными и держали в напряжении всю округу. Прибывали водолазы и армейские моторки. Как следовало из подслушанных разговоров взрослых, тела находили раздувшимися и бледными — вода вымывала из них всю жизнь, смазывая черты лица настолько, что близкие с трудом опознавали трупы.

Стоя на дамбе, вглядываясь в течение реки, я осознала, что — вопреки всем опасностям — движение всегда предпочтительнее покоя; перемены благороднее постоянства; обездвиженное неминуемо подвергнется распаду, выродится и обратится в прах, тогда как подвижное, возможно, пребудет вечно. В тот момент река иглой пронзила мой надежный устойчивый пейзаж — парк, теплицы, в которых застенчивыми рядками всходили овощи, бетонные плиты тротуара, на которых мы играли в классики. Прокколола его насквозь, продырявила, обозначив вертикаль третьего измерения; детский мир обратился в резиновую игрушку, из которой со свистом выходил воздух.

Мои родители принадлежали к племени не вполне оседлому. Они не раз меняли место жительства, пока

наконец не застряли в провинциальной школе, вдали от автострады и железной дороги. Путешествие начиналось сразу за околицей, достаточно было отправиться в соседний городок. Покупки, оформление документов в районной администрации, на рыночной площади перед ратушей — неизменный парикмахер в неизменном халате, тщетно застирываемом и отбеливаемом, потому что краска для волос оставляла на нем каллиграфические пятна, китайские иероглифы. Мама красила волосы, а отец ждал ее в кафе «Нова», на террасе с двумя столиками. Он читал местную газету, самой занимательной рубрикой которой всегда оказывались «Происшествия» — там сообщалось о похищенных из очередного подвала банках с повидлом и корнишонами.

Эти их отпускные экспедиции, опасливые, в битком набитой «Шкоде»! К поездкам долго готовились, планировали — вечерами, в канун весны, едва сойдет снег, но прежде, чем очнется земля; в ожидании, пока наконец она отдаст свое тело плугам и мотыгам, позволит себя оплодотворить и потом уж заставит родителей работать весь день напролет.

Они принадлежали к поколению, что странствовало с кемпинговым прицепом, волочило за собой временный дом. Газовую плитку, складные столики и стулья. Нейлоновую веревку — развешивать белье на стоянках, деревянные прищепки. Клеенки на стол, непромокаемые. Туристический набор для пикника: разноцветные пластиковые тарелки, приборы, солонки и рюмки. Где-то по дороге, на очередном блошином рынке, которые родители обожали посещать (если только не фотографировались на фоне какого-нибудь костела или памятника), отец купил армейский чайник — медную посудину с трубой внутри: бросаешь горсть щепочек и поджигаешь. И хотя в кемпингах можно было пользоваться электричеством, отец кипятил воду в этом чайнике, разводя

дым и грязь. Садился на корточки возле горячего сосуда и с гордостью прислушивался к бульканью кипятка, которым заливал пакетики с чаем, — истинный кочевник.

Они останавливались в специально отведенных местах, на площадках кемпингов, всегда в обществе себе подобных, болтали с соседями, окруженные носками, что сушились на тросиках палаток. Прокладывали маршруты с помощью путевода, тщательно разрабатывая план развлечений. До обеда — купание в море или озере, после — паломничество в древний мир достопримечательностей, увенчанное ужином, который обычно готовился из консервов: гуляш, котлеты, фрикадельки в томатном соусе. Оставалось только сварить макароны или рис. Вечная экономия, хилый злотый, медный грошик мира. Искали места, где можно подключиться к электросети, потом нехотя собирались в дальнейший путь — никогда, правда, не выходящий за пределы метафизической домашней орбиты. Родители не были настоящими путешественниками, ведь они уезжали, чтобы вернуться. И возвращались с облегчением, с чувством выполненного долга. Возвращались к скопившимся на комоду письмам и счетам. К большой стирке. К украдкой позевывающим над фотографиями друзьям. Это мы в Каркасоне. Вот жена, на заднем плане — Акрополь.

Потом весь год они вели оседлый образ жизни — то диковинное существование, когда утром возвращаешься к делам, что были прерваны вечером, одежда пропитывается запахом собственной квартиры, а ноги неумолимо протаптывают тропку на ковре.

Это не для меня. Во мне, видимо, отсутствует ген, который позволяет укорениться в любом месте, едва остановившись. Я пробовала, но корни всякий раз оказывались слишком слабы, и малейший порыв ветра вырывал меня из земли. Я не умею пускать ростки, лишена этого растительного дара. Не питаюсь земными соками, я — анти-Антей.

Мою энергию порождает движение — тряска автобусов, рокот самолетов, покачивание паромов и поездов.

Я удобна, невелика, компактна и хорошо оснащена. У меня маленький, нетребовательный желудок, сильные легкие, плоский живот и крепкие мышцы рук. Я не принимаю никаких лекарств, не ношу очки, не нуждаюсь в гормонах. Волосы стригу машинкой раз в три месяца, косметикой почти не пользуюсь. У меня здоровые зубы, может, не слишком ровные, но целые, всего одна старая пломба, кажется, в нижней левой шестерке. Печень — в норме. Поджелудочная — в норме. Почки, правая и левая, — в превосходном состоянии. Брюшной отдел аорты — в норме. Мочевой пузырь — правильной формы. Гемоглобин — 12,7. Лейкоциты — 4,5. Гематокрит — 41,6. Тромбоциты — 228. Холестерин — 204. Креатинин — 1,0. Билирубин 4,2 и так далее. Мой IQ — если считать, что это имеет значение, — 121; сойдет. Хорошо развитое пространственное воображение, почти эйдетическое¹, а вот латеризация² плохая. Профиль личности — неустойчивый, видимо, полагаться на него не стоит. Возраст — психологический. Пол — грамматический. Книги я покупаю, как правило, в мягком переплете, чтобы не жалко было оставить их на перроне, для других глаз. Ничего не коллекционирую.

Я окончила университет, но, по сути, никакой профессией не овладела, о чем очень сожалею; мой прадед ткал полотно, белил его — раскладывал на пригорке, подставлял палящим лучам солнца. Вот это по мне — спле-

¹ Способность «видеть» образ предмета, несмотря на его фактическое отсутствие. При этом мысленный образ является точным отображением реальности, а не реконструкцией с использованием навыков памяти. Среди взрослых это умение встречается довольно редко, но относительно распространено у детей (примерно 5% детей обладают эйдетическим воображением). (*Здесь и далее — прим. пер.*)

² Процесс, посредством которого различные функции и процессы связываются с одним или другим полушарием.

тать основу и уток, однако переносных ткацких станков не бывает, ткачество — ремесло оседлых народов. В дороге я вяжу. К сожалению, в последнее время некоторые авиакомпании запрещают брать на борт самолета спицы и крючок. Как уже говорилось, никакому делу я не обучена, и все же, несмотря на опасения родителей, мне удалось выжить, хватаясь то за одно, то за другое и ни разу не скатившись на дно.

Вернувшись в город после двадцатилетнего романтического эксперимента, утомленные засухами и морозами, здоровой едой, что всю зиму хворает в подвале, шерстью от собственных овец, старательно заталкиваемой в глотки подушек и одеял, родители выдали мне небольшую сумму, и я впервые отправилась в путь.

Я устраивалась на временную работу там, где оказывалась. На окраине мегаполиса собирала антенны для эксклюзивных яхт на интернациональной мануфактуре. Там было много таких, как я. Нанятых нелегально, без лишних расспросов о происхождении и планах на будущее. Зарплату выдавали в пятницу, и если что кого не устраивало — в понедельник можно было просто не приходить. Сюда стекались вчерашние школьники: между выпускными и вступительными экзаменами. Иммигранты с их вечной мечтой об идеальной, справедливой западной стране, где люди живут как братья и сестры, а сильное государство окружает их отеческой заботой; беглецы, удравшие от своих семейств — жен, мужей, родителей; несчастные влюбленные, рассеянные, меланхолические и вечно зябнувшие. Должники, не выплатившие кредит и преследуемые законом. Бродяги, перекаати-поле. Психи, которых после очередного приступа безумия увозили в больницу, а оттуда — согласно невразумительным правилам — депортировали на родину.

Только один индус работал здесь постоянно, уже многие годы, но, честно говоря, его положение ничем

Ольга Токарчук

не отличалось от нашего. У него не было медицинской страховки, ему не полагался отпуск. Он работал молча, терпеливо, размеренно. Никогда не опаздывал, никогда не просил отгулов. Я уговорила нескольких человек организовать профсоюз (то были времена «Солидарности») — хотя бы ради этого индуса, — но оказалось, что ему это не нужно. Растроганный моим вниманием, он каждый день угощал меня острым карри, которое приносил в судках. Сейчас я даже не помню, как его звали.

Я побывала официанткой, горничной в роскошном отеле и нянькой. Продавала книги, продавала билеты. На один сезон устроилась в маленький театр костюмершей и целую долгую зиму провела среди плюшевых кулис, тяжелых костюмов, атласных пелерин и париков. После университета я еще работала педагогом, консультантом в наркологическом центре, а в последнее время — библиотекарем. Поднакопив немного денег, отправлялась дальше.

Голова в мире

Психологию я изучала в большом и мрачном коммунистическом городе, факультет занимал здание, где во время войны располагался штаб СС. Район выстроен на руинах гетто, и человек наблюдательный без труда заметит, что уровень земли здесь примерно на метр выше, чем везде в городе. Метр развалин. Мне всегда было там не по себе; среди многоэтажек и убогих скверов вечно гулял ветер, а морозный воздух казался особенно колючим, щипал лицо. Это место, хотя на нем стояли жилые дома, по сути, все еще принадлежало мертвецам. Здание факультета снится мне до сих пор — широкие, будто бы вырубленные в скале коридоры, отполированные множеством ног, стертые края ступеней, выглаженные ладонями перила, — следы, отпечатавшиеся в пространстве. Вероятно, поэтому к нам и навевались призраки.

Когда мы запускали крыс в лабиринт, всегда находилась одна, которая опровергала своим поведением теорию и плевать хотела на наши хитроумные гипотезы. Она вставала на задние лапки, совершенно не интересуясь наградой на финише экспериментальной трассы; безразличная к привилегиям рефлекса Павлова, она обводила нас взглядом, а потом возвращалась обратно или же принималась неспешно обследовать лабиринт. Что-то искала в ответвлениях коридора, старалась привлечь к себе внимание. Растерянно пищала, и тогда девочки, нарушая инструкции, вытаскивали ее из лабиринта и держали в руках.

Мышцы мертвой распяленной лягушки сокращались и расслаблялись, повинаясь электрическим импульсам, но не так, как описывал учебник, а намекая на что-то: в движениях конечностей явственно читались угроза и издевка, опровергавшие святую веру в механическую непорочность физиологических рефлексов.

Нас учили здесь, что мир можно описать и даже объяснить с помощью простых ответов на умные вопросы. Что по сути своей он хаотичен и мертв, подчиняется нехитрым закономерностям, которые следует растолковать и наглядно представить — желательно с использованием диаграмм. От нас требовали проведения экспериментов. Формулировки гипотез. Их верификации. Нас посвящали в тайны статистики, полагая, что она поможет успешно справиться с описанием мироустройства и что девяносто процентов всегда перевесят пять.

Но сегодня я уверена в одном: ищущий порядка да бежит психологии. Лучше избрать физиологию или теологию, которые хотя бы способны обеспечить устойчивую почву под ногами — материю или дух, — чтобы не поскользнуться на психике. Психика — весьма туманный объект исследования.

Правы были те, кто утверждал, будто на факультет этот идут не ради будущей профессии, интереса или стремле-

ния нести людям помощь, — причина совсем иная, очень простая. Подозреваю, что все мы имели некий глубоко скрытый дефект, хотя, вероятно, производили впечатление умных и здоровых молодых людей — замаскировав, ловко закамуфлировав свой изъян на вступительных экзаменах. Клубок эмоций, плотно переплетенных, свалывшихся, — вроде тех диковинных опухолей, которые порой обнаруживаются в человеческом теле и которые можно увидеть в любом мало-мальски приличном патологоанатомическом музее. Но, вполне возможно, наши экзаменаторы были подобны нам и хорошо отдавали себе отчет в своих действиях. А следовательно, мы — их преемники. На втором курсе, изучая функционирование защитных механизмов и с восторгом открывая могущество этой сферы психики, мы начинали понимать, что без рационализации¹, сублимации, вытеснения, без всех этих фокусов, которыми мы себя тешим — умей мы взглянуть на мир с открытым забралом, честно и бесстрашно, — умерли бы от разрыва сердца.

В процессе обучения мы узнали, что состоим из оборонительных сооружений, щитов и доспехов, подобны городам, чье архитектурное разнообразие ограничивается стенами, башнями да укреплениями, — это такое государство бункеров.

Все тесты, опросы и обследования мы опробовали друг на друге, и после третьего курса я была уже в состоянии назвать то, что меня беспокоило, — мне как будто открылось собственное сокровенное имя, используемое лишь для обряда инициации.

¹ Механизм психологической защиты, за счет которого в мышлении используется только та часть воспринимаемой информации и делаются только те выводы, благодаря которым собственное поведение предстает как хорошо контролируемое и не противоречащее объективным обстоятельствам. Термин был предложен З. Фрейдом, в дальнейшем понятие развила его дочь А. Фрейд.

Я недолго занималась тем, чему меня обучили. В одной из поездок, застряв без гроша в большом городе и устроившись в гостиницу горничной, начала писать книгу. Это была повесть, которую хорошо читать в дороге, в поезде, — я словно бы писала ее для самой себя. Книга-тартинка — целиком умещается во рту, не приходится откусывать.

Мне удавалось хорошенько сосредоточиться и сконцентрироваться, на некоторое время обратившись в гигантское ухо, что прислушивается к шорохам, эху и шелесту; к далеким голосам, доносящимся откуда-то из-за стены.

Но я так и не стала настоящей писательницей или, лучше сказать, писателем — мужской род придает этому слову весомость. Жизнь вечно ускользала от меня. Я обнаруживала только ее следы, жалкие личиночные шкурки. Стоило мне засечь ее координаты, как она меняла местоположение. Я находила лишь знаки, вроде надписи на дереве в парке: «Здесь был я». На листе бумаги жизнь оборачивалась незаконченными историями, сновидческими новеллами, туманными сюжетами, зависала на горизонте вверх ногами или в поперечном сечении, не позволяя охватить целое.

Каждый, кто когда-либо пытался написать роман, знает, сколь мучителен этот труд — хуже занятия просто не придумаешь. Ты обречен на постоянное заточение внутри себя, в одиночной камере. Это контролируемый психоз, паранойя и мания, приспособленные к полезному делу, а потому лишенные перьев, турнюров и венецианских масок, по которым их можно было бы опознать, — скорее уж нацепившие фартук мясника и резиновые сапоги, с тесаком в руках. С такой писательской перспективы, как из подвала, видны разве что ноги прохожих, слышен стук каблучков. Порой кто-нибудь остановится, наклонится и заглянет внутрь, тогда есть шанс